

ОЛДОС ХАКСЛИ

ОБЕЗЬЯНА И СУЩНОСТЬ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
X16

Серия «Эксклюзивная классика»

Aldous Huxley
APE AND ESSENCE

Перевод с английского *И.Г. Русецкого*

Серийное оформление *А.В. Фереца, Е.Д. Фереца*

Компьютерный дизайн *А.С. Курсановой*

Печатается с разрешения Aldous and Laura Huxley Literary Trust, наследников автора и литературных агентств Georges Borchardt, Inc. и Andrew Nurnberg.

Хаксли, Олдос.

X16 Обезьяна и сущность : [повесть] / Олдос Хаксли ; [пер. с англ. И. Г. Русецкого]. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 224 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-098411-4

«Обезьяна и сущность» (1948) — одно из самых известных произведений Олдоса Хаксли наряду с романом «О дивный новый мир».

Фантастическая антиутопия, своеобразное предупреждение писателя о грядущей ядерной катастрофе, которая сотрет почти все с лица земли, а на обломках бывшей цивилизации выжившие будут пытаться построить новое общество. Но ничего хорошего это новое общество не принесет: тотальный контроль Церкви над всей жизнью людей, запрет на любовь, на страсть и, как следствие, совершенно извращенные отношения между людьми. А поклоняться новое общество будет не Богу, а Дьяволу по имени Велиал.

Повесть «Обезьяна и сущность» как никогда актуальна. И кто знает, не сбудутся ли на самом деле пророчества Хаксли через 100 лет?

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© Aldous Huxley, 1948
© Перевод. И.Г. Русецкий,
наследники, 2016
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2022

ISBN 978-5-17-098411-4

I

Тэллис

В этот день был убит Ганди, однако на холме Кэлвери гуляющих гораздо больше занимало содержимое корзины со съестным, нежели значение в общем-то заурядного события, свидетелями которого они оказались. Что бы ни утверждали астрономы, Птолемей был совершенно прав: центр Вселенной находится здесь, а не где-то там. Пусть Ганди мертв, но и за письменным столом у себя в кабинете, и за столиком в студийном кафе Боб Бриггз умел говорить только о себе.

— Ты всегда мне помогал, — заверил меня Боб, приготовившись не без удовольствия поведать очередную главу своей биографии.

В сущности, я прекрасно знал — а сам Боб и подавно, — что на самом-то деле никакая помощь ему не нужна. Он любил попадать в переплет; более того, любил поплакаться о своих затруднениях. Как сами неприятности, так и несколько драматизированное их изложение

позволяли ему почувствовать себя всеми поэтами-романтиками, вместе взятыми: покончившим с собой Беддоузом, состоявшим во внебрачной связи Байроном, Китсом, зачахшим из-за Фанни Брон, Гарриет, погибшей из-за Шелли. А чувствуя себя всеми поэтами-романтиками сразу, Боб мог хотя бы ненадолго позабыть о двух главных причинах своих невзгод: о том, что он был на-чисто лишен их таланта и — почти начисто — их сексуальности.

— Мы дошли до точки, — сказал Боб (трагизм, с которым он произнес эти слова, навел меня на мысль, что актер из него вышел бы гораздо более сильный, чем киносценарист), — мы с Элейн дошли до точки и почувствовали себя, словно... словно Мартин Лютер.

— Мартин Лютер? — с некоторым удивлением переспросил я.

— Знаешь: *ich kann nicht anders**. Мы не могли, просто не могли ничего больше сделать, кроме как отправиться в Акапулько.

А Ганди, подумал я, не оставалось ничего, кроме как пассивно противиться угнетению, отправиться в тюрьму и в конце концов дать себя застрелить.

* Иначе я не могу (нем.). — Здесь и далее примеч. пер.

— Итак, мы сели в самолет и улетели в Акапулько, — продолжал Боб.

— Наконец-то!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Но ты ведь уже давненько об этом подумывал, верно?

Боб недовольно поморщился. Мне же вспомнились все наши предыдущие разговоры на эту тему. Следует ли ему сделать Элейн своей любовницей или нет? (Он ставил вопрос в этакой очаровательной старомодной манере.) Следует ему просить у Мириам развода или нет?

Речь шла о разводе с женщиной, которая до сих пор в самом прямом смысле оставалась для него тем, чем была всегда — его единственной любовью; однако в другом, но тоже не менее прямом смысле его единственной любовью была Элейн; причем она стала бы таковой в еще большей степени, решился он наконец (а именно поэтому он и не мог решиться) «сделать ее своей любовницей». Быть или не быть — этот монолог длился уже почти два года и затянулся бы еще лет на десять, будь у Боба возможность гнуть свою линию и дальше. Боб любил, чтобы его затяжные и по преимуществу мнимые неприятности не приобретали нестерпимо плотского оттенка, который мог подвергнуть его сомни-

тельную мужественность очередному унижительному испытанию. Хотя Элейн и находилась под впечатлением красноречия своего поклонника, а также его барочного профиля и ранней седины, ее, по-видимому, все же утомили эти нескончаемые, но исключительно платонические неприятности. Бобу был поставлен ультиматум: или Акапулько, или полный разрыв.

Словом, он был осужден на нарушение супружеской верности так же бесповоротно, как Ганди на пассивность, тюрьму и смерть, но, судя по всему, опасения Боба были глубже, сильнее и в ходе событий вполне подтвердились. Хотя бедолага Боб и не рассказал мне о том, что произошло в Акапулько, однако история получилась явно трогательная и нелепая — об этом красноречиво свидетельствовало то обстоятельство, что Элейн, по словам Боба, «ведет себя странно» и ее уже несколько раз видели в обществе омерзительного молдавского боярина, имя которого я, к счастью, позабыл. Мириам же не ограничилась тем, что не дала Бобу развода: воспользовавшись отсутствием супруга, а также его доверенностью, она перевела на свое имя ранчо, два автомобиля, четыре многоквартирных дома, несколько весьма выгодно расположенных участков земли в Палм-Спрингсе, равно как и все его

сбережения. А он между тем задолжал правительству тридцать три тысячи долларов подоходного налога. Однако когда Боб попросил у продюсера обещанные двести пятьдесят долларов прибавки к недельному жалованью, последовало долгое, полное скрытого смысла молчание.

— Ну так как же, Лу?

Внушительно цедя слова, Лу Лаблин ответил:

— Боб, сегодня, в этой студии, прибавки не получил бы даже Иисус Христос.

Сказано это было вполне дружеским тоном, но, когда Боб попытался настаивать, Лу треснул кулаком по столу и заявил, что тот ведет себя не по-американски. Это решило дело.

Боб продолжал рассказывать. Какой сюжет для большого религиозного полотна! — подумал я. Христос выпрашивает у Лаблина жалкую прибавку в двести пятьдесят долларов в неделю и получает решительный отказ. Это была бы одна из излюбленных тем Рембрандта: на ее основе он создал бы десятки рисунков, офортов и полотен. Иисус печально удаляется во мрак неуплаченного подоходного налога, а в золотом луче прожектора, сияя драгоценными камнями и металлическими бликами, Лу в громадном тюрбане торжествующе усмехается тому, как он обошелся с Мужем Скорбей.

Потом я представил себе, как трактовал бы этот сюжет Брейгель. Большая панорама студии: полным ходом идут съемки мюзикла стоимостью в три миллиона долларов, в котором точно воспроизводятся все мельчайшие детали; две-три тысячи превосходно загримированных актеров; а в нижнем правом углу зритель после долгих поисков обнаруживает наконец Лаблина величиной с кузнечика, глумящегося над еще более тщедушным Иисусом.

— Но у меня была совершенно потрясающая идея сценария, — говорил Боб с тем жизнерадостным воодушевлением, которое для отчаявшегося человека служит альтернативой самоубийству. — Мой агент в восторге: считает, что я смогу продать ее за пятьдесят-шестьдесят тысяч.

И он начал рассказывать.

Все еще размышляя о Христе, стоящем перед Лаблином, я вообразил, как это написал бы Пьеро: блистательно выверенная композиция, равновесие пустот и тел, гармоничных и контрастных тонов, все фигуры пребывают в несокрушимом покое. На головах у Лу и его ассистентов должны быть головные уборы фараонов в виде громадных перевернутых конусов из белого или цветного фетра, которые в мире Пье-

ро подчеркивают два обстоятельства — четкую геометрическую природу человеческого тела и причудливость жителей Востока. Несмотря на шелковистую легкость, складки каждого одеяния неизбежны и определены, словно вырезанные из порфира силлогизмы, а все полотно пронизано присутствием платоновского божества, которое с помощью математики навсегда превращает хаос в упорядоченность и красоту искусства.

Однако от Парфенона и «Тимея» формальная логика приводит к тирании, которая в «Государстве» провозглашена идеальной формой правления. В политике эквивалент теоремы — это армия с безукоризненной дисциплиной, а эквивалент сонета или картины — полицейское государство, находящееся под властью диктатуры. Марксист называет себя «научным», а фашист к этому определению добавляет еще одно: он поэт — научный поэт — новой мифологии. Претензии того и другого вполне оправданны: и тот, и другой в реальной жизни прибегают к приемам, доказавшим свою эффективность в лаборатории или башне из слоновой кости. Они упрощают, отделяют и исключают все, что неприменимо для их целей, и готовы пренебречь чем угодно как

несущественным; они навязывают свои способы и подтасовывают факты, чтобы доказывать свои излюбленные гипотезы; они отправляют в мусорную корзину все, чему, по их мнению, недостает совершенства. А поскольку они действуют как подлинные мастера своего дела, как серьезные мыслители и опытные экспериментаторы, тюрьмы переполнены, политические еретики гибнут на каторге, права и желания простых людей попираются, Ганди погибают насильственной смертью, а миллионы школьных учителей и радиодикторов от восхода до заката твердят о непогрешимости сильных мира сего, которые в данную минуту оказались у власти.

— И в конце концов, — продолжал Боб, — я не вижу причин, почему кино не должно быть произведением искусства. Этот проклятый торгашеский дух...

Он говорил с праведным негодованием посредственного художника, который обрушивается на козла отпущения, выбранного им, чтобы иметь, на кого свалить плачевные последствия собственной бесталанности.

— Как ты думаешь, Ганди интересовался искусством? — спросил я.

— Ганди? Разумеется, нет.

— Пожалуй, ты прав, — согласился я. — Ни искусством, ни наукой. Потому-то мы его и убили.

— Мы?

— Да, мы. Умные, деятельные, вперед смотрящие почитатели порядка и совершенства. А Ганди был просто реакционер, веривший лишь в людей. В маленьких, убогих людишек, которые сами управляют собою в своих деревушках и поклоняются брахману, являющемуся также и атманом. Такого терпеть было нельзя. Неудивительно, что мы его уколошили.

Я говорил и одновременно размышлял, что это еще не все. Еще была непоследовательность, почти измена. Человек, который верил лишь в людей, дал втянуть себя в массовое нечеловеческое безумие национализма, в якобы сверхчеловеческое, а на самом деле дьявольское стремление учредить народное государство. Он дал втянуть себя во все это, воображая, что ему удастся унять безумие и все, что есть в государстве сатанинского, превратить в некое подобие человеческого. Однако национализм и политика силы оказались ему не по зубам. Святой может исцелить наше безумие не из середины, не изнутри, а только снаружи, находясь вне нас. Если он станет деталью машины, одержимой

коллективным сумасшествием, случится одно из двух. Он либо останется самим собой, и тогда машина будет какое-то время его использовать, а потом, когда он сделается бесполезен, выбросит или уничтожит. В противном случае он будет переделан по образу и подобию механизма, с которым и против которого работает, и тогда мы увидим, что святая инквизиция в союзе с каким-нибудь тираном готовит торжество привилегий церкви.

— Так вот, возвращаясь к их торгашескому духу, — проговорил Боб. — Позволь привести тебе пример...

Но я думал о том, что мечта о порядке порождает тиранию, мечта о красоте — чудовищ и насилие. Недаром Афина, покровительница искусств, является также богиней военных наук, божественной начальницей любого генерального штаба. Мы убили Ганди, потому что после короткой (и смертельной) политической игры он отказался от нашей мечты о народном порядке, о социальной и экономической красоте; потому что он попытался напомнить нам о конкретном и всеобъемлющем факте существования реальных людей и внутреннего Света.

Заголовки, которые я видел этим утром в газетах, были иносказательны, они содержали не

только сам факт, но и аллегория и пророчество. Этим символическим актом мы, так стремящиеся к миру, отвергли единственное средство его достижения и предостерегли всех, кому случится в будущем отстаивать иные пути, нежели те, что неизбежно ведут к войне.

— Ладно, если ты допил кофе, то пошли, — сказал Боб.

Мы встали и выбрались на солнце. Боб взял меня за руку и пожал ее.

— Ты очень мне помог, — снова заверил он.

— Хотелось бы надеяться, Боб.

— Но ведь так оно и есть, так и есть.

Быть может, оно действительно так и было: выплеснув свои неприятности перед благожелательным слушателем, он почувствовал себя лучше, как-то приблизился к поэтам-романтикам.

Несколько минут мы молча шли мимо проекционных и домиков администраторов в стиле Чурригеры. На дверях самого большого из них висела внушительная бронзовая табличка с надписью «Лу Лаблин».

— Как насчет прибавки? — поинтересовался я. — Может, зайдем, попробуем еще разок?

Боб скорбно усмехнулся, и снова наступило молчание. Когда он наконец заговорил, голос его звучал задумчиво:

— Бедный старина Ганди! Мне кажется, самым большим его секретом было умение ничего не желать для себя.

— Да, пожалуй, это один из его секретов.

— Боже, как хочется иметь поменьше желаний!

— Мне тоже, — с жаром согласился я.

— Ведь когда наконец получаешь желаемое, всегда оказывается, что это вовсе не то, о чем ты мечтал.

Боб вздохнул и опять замолк. Он явно размышлял об Акапулько, об ужасной необходимости перейти от затяжного к неминуемому, от смутного и показного к слишком уж конкретно плотскому.

Миновав улицу с административными домиками, мы пересекли стоянку для машин и углубились в ущелье между высоченными звуковыми павильонами. Мимо проехал трактор с низким прицепом, на котором стояла нижняя половина западной двери итальянского собора XIII века.

— Это для «Екатерины Сиенской».

— А что это?

— Новый фильм Гедды Бодди. Два года назад я сделал сценарий. Потом его передали Стрейгеру. А после его переписала команда

О'Тула — Менендеса — Богуславского. Мерзость!

Мимо прогрохотал еще один прицеп с верхней половиной соборной двери и кафедрой работы Никколо Пизано.

— Если вдуматься, она в некотором смысле очень похожа на Ганди, — проговорил я.

— Кто? Гедда?

— Нет, Екатерина.

— А, понимаю. Я думал, ты говоришь про набедренную повязку.

— Я говорю о святых в политике, — пояснил я. — С нею, конечно, не расправились, но лишь потому, что она рано умерла. Последствия ее политики просто не успели проявиться. У тебя было все это в сценарии?

Боб покачал головой:

— Слишком грустно. Публика любит, чтобы звездам сопутствовала удача. И потом, разве можно говорить о церковной политике? Получится нечто явно антикатолическое, что может легко превратиться в антиамериканское. Нет, мы не рискуем, а сосредоточиваемся на парне, которому она диктует свои письма. Он без памяти влюблен, но все это очень возвышенно и духовно, а когда она умирает, он уединяется и молится перед ее портретом. Там есть еще дру-